

## Галина МУХИНА

Родилась в с. Могочино Новосибирской области. Окончила исторический факультет Уральского государственного университета.

Историк-новист, кандидат исторических наук, автор трёх книг и десятков статей по истории и культуре Франции и России, с полувековым рабочим стажем. Последние сорок лет работала доцентом на кафедре всеобщей истории Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Живёт в Омске.

## Михаил ПРИШВИН: СУТЬ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА – В ПРАВДЕ 150 лет со дня рождения писателя

Главным своим произведением Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) считал Дневники, которые писал с 1905 года вплоть до конца жизни, скрывал их, понимая, сколь опасны они для него самого, если обнаружат. Мыслитель выразил в них себя как писателя и человека, как русского человека. Эта русскость представлена у него в образе самой России, описаниях, набросках, раскиданных по всему тексту о национальной ментальности и собственном предназначении. Об этом и пойдёт речь.

Образ России? Писатель не может обойтись без стереотипов. В 1914 году записывает: «Россия легко представляется как громадная дебилая баба. Все рассуждающие мистики в один голос признают начало женственное, пассивное основание в России». По его мнению, «“женственность” славянского духа» – это «какая-то высшая потребность духа не вознестись, а отдаться». Есть в русском человеке «готовность повергнуться перед каким-то неоспоримым авторитетом, как раньше было: это царь и Бог». Так он сам чувствовал и считал «особенной чертой славян, отличающей их от гордых варягов», различая немецкий долг и русское послушание (1946).

Таинственная – «с народом-сфинксом» (1917). «Чувство родины в России сильнее, чем в Европе», – утверждал он, «а отечества нет», то есть нет граждан, гражданского общества – в отличие от Европы (1920).

В 1930 году понял, что «только теперь раскрывается это понятие во всем значении: родина – это от рода... эта сила сродства воплощается в чем-нибудь и как возможность счастья... что есть оно где-то, кому-то – светит звездочкой, или раскрывается в почках, или бормочет ручейком...»

Смысл – «в единстве существа человека: и это есть в чувстве рода (“свояк”))» и очень сильно в нас (1938). «Русский простой человек не может стать выше крови». Прежде огромное большинство крестьян так и «держалось возле земли родовыми союзами, – вреда от этого не было», но до того, как «свояк полез в производство, в милицию и стал тянуть за собой свояка» (1939).

Родина не есть «что-то этнографическое, ландшафтное, недвижимое». «Для меня родина – всё, что я сейчас люблю и за что борюсь, родина – это я сам, как творческий момент настоящего, создающего из прошлого наше будущее», – зафиксировал Пришвин свою преданность России – до полного слияния с нею (1938). Истоки этого чувства обнажились в воспоминаниях 1946 г. о раннем детстве. Вот ему три года, он сидит за большим столом под висячей лампой вместе с женщинами, ощущает их «серьезное глубокое настроение». Рядом пучки корпии, они связывают время нашей нынешней войны с «героическими народными войнами прежних времен». Даже самое слово «корпия» вызывали в нём теперь «представление о какой-то большой нравственной связи женщин в тылу и воинов на поле битвы». Первое его «гражданское детское впечатление было единственное, в котором гармонично связываются все элементы, составляющие понятие отечества и родины: тут и природа, и народ, и правители, и личность – все вместе в единстве», как рассказывали наши отцы, как описывал Л. Толстой в книге «Война и мир». И заключает: «Вот это для чего ты жил, старый человек... Для того, чтобы связать время человеческим смыслом» с последней победой Красной Армии над немцами (1946). «Чувство родины, конечно, всегда было у русского человека, но оно не было так остро и больно задето и осознано, как в последнюю мировую войну» (1948).

Пришвин сравнивает довоенную Россию с Европой, как это всегда было принято. Но с Европой «коварной», для которой «славяне не больше, как, кролики, которым она для опыта привила свое бешенство» и готовит фашизм против нас. Признание тяжкое: «Когда видишь намерения на хищнический расхват нашей страны, то без колебания становишься на сторону большевиков». Но когда оглянешься на достижения социализма, то видишь «громадное ухудшение» в сравнении с положением людей в буржуазных странах. «... Три греха или вернее три кита: утопизм, авантюризм и халтура; полагаю, на этих же трех китах стоит и буржуазная цивилизация, и разнится от нас только размером того или другого кита, у них самый большой кит авантюра, у нас утопия и халтура. Правда, капитал начинается авантюрой, социализм утопией. И что же, через много лет авантюра создаст цивилизацию; почему же утопия не может создать свою?» (1930)

Поездка Пришвина на Дальний Восток в 1931 году показала масштаб предстоящей переделки: «дело казацкого расширения перешло к большевистскому». В этом весь смысл нашей истории: «мы вступили в сферу бесконечного продвижения по стране социалистического отечества». Речь шла о развитии региона, где трудятся «статные русские молодцы» и «истинно трудовые люди и живучие» – китайцы, что «наполняют землю силой размножения». Они разные. На Алдане русский работает шесть часов до упора, пьёт спирт, ест мясо, живёт как налетчик. Китаец работает часов двенадцать потихоньку, догонит русского и не устанет, живет согласно «с землей и небом, больше, вероятно, с небом». Китайцы – «народ исключительно чуткий и отзывчивый к мелочам хорошего сердечного отношения».

По-видимому, столкновение с Китаем Европы будет не сейчас, предполагал он, но мы ввязываемся в это дело. Вероятно, не только «авантюрами большевиков», а и внутренней судьбой Востока. «Господское высокомерие европейца-колонизатора и цивилизатора получило от русской революции хорошую гримасу, получит и в китайской. Китай надо «принять к сердцу (вот где надо искать оправдания и смысла)». Китай приблизился к нам. Россия показывается в новом свете. И стало понятно, будто «человеческий мир стоит на трех китах: Россия, Индия и Китай» (1927). Прямо как сейчас нам бы хотелось! Ради переформатирования однополярного мира в многополярный.

Но состояние страны его удручает: «Теперь, когда все иностранное исчезло и мы остались лицом к лицу с отечественным производством, вдруг обнаружилась истинная Россия во всем своем техническом неуменье и чудовищной отсталости». В Лавре снимают колокола, и тот в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдет в переплавку. «Чистое злодейство», и заступиться нельзя никому: «слишком много жизней губят ежедневно, чтобы можно было отстаивать колокол...» (2 ноября 1929 г.) А гибель «редчайшего, даже единственного в мире музыкального инструмента – Растреллиевской колокольной: сбрасывались один на другой и разбивались величайшие в мире колокола Годуновской эпохи». Целесообразности не было никакой: 8 тыс. пудов бронзы можно было набрать из обыкновенных колоколов. Это невозможно оправдать. Растреллиевская колокольная могла бы служить делу социализма: играть 1 мая революционные марши, и процессии под звуки колоколов, единственных в мире, привлекали бы иностранцев (1930).

2 ноября 1930 г. – сообщение в газетах о съезде пролетарских писателей. Его реакция: «Нет, кажется, ничего мне горше, как групповое вовлечение писателей в политику». На это готов ответ: «Если будет война я, как гражданин, готов защищать СССР и, если придется, умру с чистой совестью... Но если меня обяжут написать поэму о войне или даже просто о наших достижениях, то я этого сделать не властен».

8 ноября 1930 г.: «Моя печаль в этом году перешла в отчаяние... артист-писатель, сбрасывается вниз... как последний балласт... Мое отчаяние велико, потому что вместе с этим творческое начало жизни, сама личность человека падает. Стало чаще и чаще являться желание выйти из дому в чем есть, и пойти по дороге... и, когда силы... вовсе иссякнут, свернуть... в ближайший овраг и лечь там». И не считал это самоубийством. Но каждый раз останавливала «жалость к близким» и мысль: зачем же тебе идти в овраг, «ведь ты уже в овраге». «Нельзя открывать своего лица» – первое условие тогдашней жизни: «нужна мина и маска».

Вырывалось сочувствие: «И как же бедно-бедно живут служащие советские люди, вот уж серая-то жизнь». А по радио воспевают счастливую жизнь, и «так это всем надоело!» Откровенно пишет: «кое-что я ненавижу смертельно... и больше всего... газету “Правду” как олицетворение самой наглой лжи, какая когда-либо была на земле. Ненавижу, вспоминая слова Тургенева о русском народе, что нет более изолгавшегося народа, чем русский, но что зато никто на свете так не жаждет правды, как русский». Писателю невыносимы и газетный штамп, и речи о счастливой стране и великом вожде, похожие «на склерозные сосуды». Однако в том же 1937 году удивляется: «если с точки зрения человеческой личности, то какая это жалкая, ничтожная и хвастливая страна СССР, а с точки зрения переустройства мира – какая это могучая страна».

Само творчество понуждает к поиску родины как писателя. Прочитал Пушкина «Историю пугачевского бунта» и «Капитанскую дочку». И дожил до понимания «откуда я пришел в литературу». «Утверждение мира в гармонической простоте (“мечты и существенное” – сходятся)». Нашёл, что искал: «И теперь читаешь и как будто у себя на родине... моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить... моя родина, непревзойденная в простой красоте и, что всего удивительней, органически сочетающейся с ней добротой и мудрости человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина “Капитанская дочка”» (1933).

Однако собственное творчество определило и родину места. «Моя физическая родина под Ельцом, а Ленинград (он был тогда Петербург) стал родиной моей как писателя: тут на Малой Охте написал я свои первые книги: “В краю непуганых птиц” и “Колобок”». «...прекрасным городом в нашей стране остается мне один Ленинград: я не по крови люблю его, а за то, что в нем только я почувствовал в себе человека» (12 сентября 1941 г.). Ещё признание: «В чувстве природы таится моя родина, в делах моих определяется отечество». Природа – вот «исходная точка художника» и «первичное выражение чувства родины», что и определило поведение в отношении к русскому слову (3 февраля 1941 г.). Наконец стало понятно: «радость жизни, свойственная моей матери, перешла у меня в чувство родины, а потом это чувство при посредстве искусства стало чувством природы» (14 февраля 1941 г.).

Патриотизм Пришвин всегда подкреплял литературными примерами и доводами. Вот «Старосветских помещиков» Гоголя он воспринимал как «удивительный, почти какой-то научный химический эксперимент» писателя, который устранил все факторы быта и показал, что «истинная, прочная, настоящая любовь держится привычкой». И тотчас почувствовал, что и к советской власти «мы привыкаем, и на этой привычке уже сложился быт» (запись 1931 г.). Хотя с оговоркой: «Я люблю свою родную страну Россию, но социализм я любить не могу, и никто это не может любить. Может быть, я признаю социализм полезным для моей страны» (1936 г.).

2 января 1946 г. перечитывает «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова и соотносит с 1917 годом. Поэт здесь шёл впереди революции, и в поэме выражено, «насколько же подготовлено было сознание народа». После признания: «Люблю русских» цитирует из неё строки:

Не диво ли? широкая  
Сторонка Русь крещеная,  
Народу в ней тьма тём,  
А ни в одной-то душеньке  
Спокон веков до нашего  
Не загорелась песенка  
Веселая и ясная,  
Как ведренный денек.

И думает об этом: Маяковский, с его искореженной поэзией, не смог «спеть такую песенку», в которой столько всего: «что-то и от павшего ангела, и от народного революционера Некрасова, и от демона, и даже от Ленина, обрекавшего на жертву “личную жизнь”. Если же сама личность идет в жертвенную печь, то где же и родиться такой песенке, веселой и ясной?»

16 сентября 1941 года: «Читаю "Село Степанчиково" и вижу, как и в "Бесах", пророческое изображение России: психология идейного деспотизма на почве личного самолюбия Фомы Опискина – разве это не современность?» Здесь развита тема «нравственной эксплуатации» одного человека другим. И думается о происхождении «деспотизма из самолюбия». Только удивляет готовность автора «самого гаденького человечка в его ничтожном самолюбии» – «не уничтожить его, а оправдать». Сразу понимаешь, что такие существа нынешние, как Ставский, Панферов, Павленко... являются точным отображением Фомы Опискина... Теперь понимаю, откуда взялся этот "железный стержень коммуниста": по примеру Опискина. Большинство героев Достоевского – это формы самолюбия». Пришвин решает прочитать всего Достоевского, имея в виду решительно всех его героев, больших, маленьких и мельчайших. Потому что Достоевский в своей литературе «дошел до такой человечности, что его повести живут и действуют почти как сами люди». Его искусство целиком «исходит из христианства, из жалости и сострадания к человеку». Потому вывод: «Вся жизнь русского народа выразилась в двух ее пророках: Достоевском и Толстом».

Пришвин всегда смотрел на русскую классическую литературу, или, вернее, на душу русского писателя, как «на копилку народную, где слезы людей превращаются в радость». И не только поэтому. Ему важно найти опору против притязаний «инженеров душ», заполонивших литературу, порывающих с традицией классиков и претендующих на лидерство (1946). Важно было определить свой круг единомышленников. Это Розанов – «"простой" русский человек, всегда искренний и потому всегда разный». Это Ремизов. Это Шаляпин – Пришвин (вслед за В. Розановым) выделяет его как явление национальное и природное, былинное, он «точно вышел из темного волжского леса», он запел, и «все волжские леса, зеленые и ласковые, запели с ним и в нем» (1941). В 1948 г. записал: мои современники, «братья и боги по духу»: Шаляпин, Горький, Коненков. А на другой «совершенно противоположной стороне» – Гиппиус, Блок, Белый. Декаденты, к которым «всегда испытывал... в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком низшего круга» (1926).

Но есть люди, от которых является «подозрение в своей ли неправоте или даже в ничтожестве своем, и начинается борьба за восстановление себя самого, за выправление своей жизненной линии». Таким для него был Блок. Стихов Блока и вообще этой «высшей стихотворной поэзии» он не понимает: «эти снежные кружева слишком кружева». Блок – это «человек, живущий "в духе", редчайшее явление. Мне так же неловко с ним, как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами. Это и плюс аристократизм стиха, в общем какая-то мучительная снежная высота, на которой я не бывал, не могу быть, виновачусь в этом себе и утешаюсь своим долинным бытием без противопоставления» (1926).

К Горькому отношение противоречивое и сожалеющее: он «должен был представить собой народную совесть в согласии с государственным делом, как было это во время Дмитрия Донского с преп. Сергием. А при конце жизни Горького оказалось, что весь "монастырь" его состоит из "врагов народа"» (8 апреля 1941 г.). Пришвин сочувствует ему, потому что «все написанное, а и жизнь его и даже, что всего обиднее, самая смерть пошли на потребу текущей политики – ужасающее несчастье!» Из всего горьковского наследия Пришвин больше всего

ценит «Детство». Бабушка в нём кажется ему «самым удачным в русской литературе образом нашей родины. Думая о “Бабушке”, понимаешь по ней, почему родину представляют себе в образе матери» (1941). Но война внесла коррективы, и Пришвин сделал открытие: «Вынес Горького наверх особый, присущий народной среде романтизм, подхваченный Горьким в среде босяков. Вот эта близость к подвижным и малодоступным для интеллигенции слоям народа и была счастьем Горького». Но дальше он не пошел, а ехал вперед «на политическом моторе». Пришвину представилось, что это «нечто народное; какая-то сила, выметающая немцев из России, в своем психологическом основании и есть тот самый босяцкий романтизм, которым питался Горький: вот на каких дрожжах выростали наши генералы и герои военные» (1942).

Его литературные предпочтения, «вечные спутники» (поэты) – Лермонтов, Блок, Есенин, Пушкин. А «совсем недоступные»: Брюсов, Маяковский, в том числе и Гёте. Тут «вопрос о рукотворности вещи, мне поэзия должна быть как молитва».

Из прозаиков у него «живут»: Шекспир, Толстой, Достоевский, Гамсун, Чехов, Лесков. Понимал, что искусство настоящее есть «здоровье человечества, и лучшие представители искусства все здоровые люди»: Шекспир, Толстой, Леонардо... (1934). Он ценит «общий ум», в котором «очень даже мало разума и гораздо большая доля чутья», оно главным образом и составляет этот «“ум” народный и вселюдный, благодаря которому между всеми ступенями образования и развития все-таки существует общение. У нас на Руси этот ум и лег в основу литературы...» Благодаря этому создаётся «язык намеков, как у Гоголя, Достоевского: читаешь и все время чувствуешь нечто большое, стоящее за словами...» (1935).

В словесной силе народов чувствовал «все их лучшее». Сила русского слова, считал Пришвин, явилась «за счет отказа от всяких материальных ценностей». Это хорошо понимали «все гении русского слова, и благодаря этому создавались ценности такой силы, что заставили слушать себя все миры» (1928).

О самом народе у писателя много неутешительных, нелицеприятных оценок, но далеко не однозначных, ибо нет худа без добра – всё в единстве. В 1914 г. констатирует: «Людей благочестивых в России достаточно, но мало честных людей. Если вы приступаете к какому-нибудь делу и пожелаете найти честного помощника, вам скажут: “таких нет”. Вы сомневаетесь: мало ли людей, которые служили бы по совести? Отвечают: не верю в существование такого человека!» Однако такая национальная черта, как «сознание своего ничтожества», способна превратиться в дело исторического собирания Руси: «если... “великорусы” знают... “ничто”: то, конечно, само возле себя у них и остается это “ничто”, зато другие народы к этому тянутся, и так “собирается Русь”. (“Ничто”: жить кое-как и вдруг подняться всем миром.)» «“Ничто”... являет собой силу и особенность великорусского племени: этой силой и собирались вокруг Великороссии терпеливые и устойчивые племена» (1936). На эту всемирную отзывчивость народа не раз обращали внимание классики нашей литературы, прежде всего Достоевский.

Пришвин знал, что русское поколение интеллигенции Толстым, народниками и славянофилами воспиталось «в религиозном благоговении к простому народу в его деле добывания хлеба на земле». Теперь

все это представление исчезло как дым, и осталось «лицезрение колеса будничной необходимости» (1918).

На народность у Пришвина свой взгляд. «Народность не есть высшая идея, которой мы должны служить, а есть живая сила природная и историческая, которая сама должна служить высшей идее». Чтобы народ был достойным предметом веры и служения, он сам «должен верить и служить чему-нибудь высшему и безусловному». Чему же? Речь идёт о пробуждении национального самопознания, познании себя как «служебного орудия в совершении на земле Царства Божия». Вывод писателя: «Мы как народ спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением» (1919). Этим задачам, несомненно, призвана служить интеллигенция, потому что основное различие народной психологии и интеллигентской заключается в том, что «народ трудится в подневольном состоянии, а интеллигент в свободном...» (1918). Предполагал, что сущность патриотизма, по-видимому, и состоит «в отношении интеллигенции к народу, подобному Дон-Кихота к Санчо» (10 января 1925 г.)

Все пороки русского человека «идут от вековечной бедности». А «при порочности желание быть хорошим до того напряженное, что при малейшем упреке русский человек становится на дыбы: самолюбие его болезненное, заостренное». Все же хорошее русского человека сохраняется в глухих местах, в стороне от цивилизации, а чем ближе к городу, тем жители «мельче душой». «Притом это страшно талантливый народ, если судить по тому, чего он достигает в своем гении» (5 ноября 1924 г.).

Пришвину нравятся радости русского человека (близкие самому): «самая первая» – «постранствовать», в Соловецкий монастырь или в Киевские печуры Богу помолиться, или по широким степям так походить, или в Сибирь уехать попытать счастья на новых местах, узнавая, как люди живут». И соглашался с Аполлоном Григорьевым: странствие тем хорошо, что «чувствуешь себя в руках Божьих, а не человеческих» (1930). А «вторая половина русской радости»: «блудному сыну» «вернуться в дом родной к родному уюту» и взяться за доброе дело (9 февраля 1920 г.).

В 1925 г. ушла всякая надежда на мало-мальски устроенную жизнь. Если бы у нас предоставить Америке свободно распоряжаться своими капиталами, то все граждане перешли бы на службу к ней. Но «как перешагнуть через родину, через самого себя? Ведь только я сам... могу преобразить ее, поминутно спрашивая “тут не больно?”, и если слышу “больно”, ощупываю в другом месте свой путь». О себе записал: «через уважение к родным, некоторым друзьям и, главное, через страстную любовь к природе, увенчанной своим родным словом, я неотделим от России, а когда является мысль, что ее уже нет, что она принципиально продана уже другому народу, то кончается моя охота писать и наступают мрачные дни».

В 1928 г. он приходит к выводу, что людей разделяет не собственность, а наличие «природного дара»: даровитые и темные – вот два главных класса. А потом уже – «собственность, богатство и бедность, зависть и щедрость», как второстепенные. Пришвин не считал себя народником, но воспитывался среди них, и этика его была народническая. Он всю жизнь «приглядывался к мужику», и пришел к убеждению, что «его все обманывают», а русскому государству даже существовать нельзя без обмана мужика. Он и сам чувствовал себя в народе почти как Миклухо-Маклай на Новой Гвинее среди дикарей. В своей личной жизни, которая «сложилась столь причудливо», стирались все сословия

и классовые границы. Немало он знал мужиков и рабочих, которые целиком попадают в категорию высшей интеллигенции, и сколько встречалось князей, ученых и богачей, целиком падающих «в безликую массу простого народа».

Он различает народ и интеллигенцию ещё по такому принципу – готовности продолжать свой род. Само слово «на-род» созвучно с обилием роста, разрастанием, интеллект же «сопротивляется диктатуре акта природы». Однако делает оговорку, что «культура и “безымянная жизнь” (интеллигенция и народ) нигде, кроме России, не разграничены так резко». Но это до революции, а после неё из народа вышло такое «множество полукультурных людей, а интеллигенция так поубавилась», что резкое разграничение между ними исчезло. К тому же нынешнее состояние массы крестьянской подобно дореволюционному только «по нищете, пьянству и хулиганству», а изнутри она подготовлена – с оживлением индустрии – к лавинному переходу из крестьян в рабочие (1928).

В год «великого перелома» Пришвин отвергает правомерность классового подхода «к живой личности», потому что это «самая ужасная пытка для людей и губительство всякого творчества: это все равно, что стрелять в Пушкина или Лермонтова». А что стоит общее крестьянское название всех коллективов – «принудиловка». «Принудиловка» – «страшней, чем война»: там всегда есть надежда, что когда-нибудь вернешься домой, а тут «самый дом исчезает» (1929).

Возмущён раскулачиванием. И заносит кулаков-капиталистов как организаторов производства и большевиков («людей власти» – тоже организаторов) в один класс. В деревнях вся нынешняя политика представляется ему «грабежом и систематической пауперизацией», (хотя в городах «много разумного дела, вероятно, даже энтузиазма»). 1929 год внешне очень напоминает 18-й, но тогда «грабеж оправдывался революцией: “грабь награбленное”, теперь социалистическим строительством будущего». «Тогда на каждом месте был убежденный революционер, теперь только исполнительный чиновник, а убежденных вовсе нет». (Зачеркнуто: «Мир в своей истории видал всякого рода грабежи, но таких, чтобы всякий трудящийся был ограблен в пользу бездельничающей “бедноты” и бюрократии под слова “кто не работает”... Противно думать об этом».) Статью Сталина «Головокружение от успехов», в которой он идет «сам против себя» воспринимает как верх «цинизма» (1930). Для себя же выводит: «Надо приготовиться к тому, что некоторое время кормиться писанием будет невозможно» (1929).

Долго не понимал значения «ожесточенной травли “кулаков” и ненависти к ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их достояние». Потом только понял причину: все они «даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства». Все они «не знали счета рабочим часам своего дня», как все организаторы производства в стране. Ныне работают все по часам, а «без часов, не помня живота своего, не за страх, а за совесть, только очень немногие». Вот и выходит, что «деревенская среда является положительной средой для кулака, способный человек непременно проходит в кулаки»: «всякий талантливый обращается в кулака». А вокруг «лень, безвыходность, пьянство, слабость, зависть... И вот это идеализировали и поэтизировали!» (1930). Но эта политика против частной собственности как орудия эксплуатации проводилась в соответствии с теорией марксизма и имела своё историческое оправдание, в том числе



и в борьбе с нищетой. Для Пришвина – выходца из купеческого сословия, этот вопрос был очень болезненным: он сам попал под экспроприацию: потерял землю, сад, дом.

В результате что получилось? По Пришвину: «Коммунизм выскреб все личные привязанности наших людей к своим вещам, все личные навыки (кустарей), все народные обычаи. Так образовалась аморфная масса, ныне распределяющаяся вокруг личности вождя, как опилки вокруг магнитного полюса». Отсутствие собственности на орудия производства, личная материальная бедность, крайняя неприспособленность, выносливость обеспечивают легкую управляемость; возникает идея возможности устройства «полной счастливой и зажиточной жизни для этой податливой и неприспособленной массы» (1936).

Сравнивая коммунизм и капитализм (фашизм), писатель ставит уловой вопрос о собственности на орудия производства и подчёркивает её социальную значимость. У них наследственная собственность – «способ национального отбора способных людей», вместе с которой «наследственно передаются и сохраняются личные навыки, народные обычаи». У нас не удалось, и «крупнейший сознательный старатель Столыпин на этом пути был убит» (1936).

До сих пор наш социализм, считает он, «прозябает, как паразит на остатках капитализма»: «“кулак” никогда не может быть раскулачен, потому что капитал не в вещах, а в душе» (1930). Психологически это, действительно, оказалось неистребимым, судя по историческому опыту, в том числе и нашему.

Отказ признать право собственности извратило жизнь общества, о чём он пишет: «Самое-самое трудное теперь для всех – “чистка” или публичный разбор жизни личной и общественной всякого гражданина». Смысл этой чистки сводится к тому, чтобы «каждая человеческая личность в государстве вошла в сферу действия коллективной воли». В этом все. Крестьянин, кустарь, всякого рода мастер – независимый от воли коллектива, объявляется «врагом республики» (1929).

Воспринимая «государственный юбилей» Горького как «яркий документ государственно-бюрократического послушания русского народа», писатель с горечью записал: «Воля народа, по-видимому, без остатка сгорела в расколе, после чего остался не народ, а... внешне послушная масса с затаенной жизнью личного, находящая свое выражение в какой-то артистичности... Нигде в мире нет, вероятно, такого числа артистов, придумщиков, чудаков, оригиналов всякого рода, в общественном отношении исповедующих закон “моя хата с краю”». В этом грехе он и сам признавался (1928).

В русском народе он чтит открытость, общительность (душа нараспашку): «вот ты встретил неизвестного человека, и через минуту ты с ним говоришь, будто всю жизнь знал его. Хорошее чувство: “вместе несем”. Русский человек хорош для незнакомого, готов открыть все и служить...» Все хорошее – это частный человек, плохое – общественный (трус). И приводит слова Егора Воруланинова, побывавшего в плену: «Вот немец живет, никому нет дела: живет и живет, а у нас надо узнать все подробности, как живет и отчего...» У них «совесть есть, только не живая, а в закон перешла». «Русский человек... бедность какая, смотреть не на что, а совесть живая, и без товарища не может и не понимает, как и зачем жить без товарища: кусочек достанет чего-нибудь, и поделится с другом и благодарности не примет, а только скажет: ну, ладно, когда-нибудь сочтемся, мне будет плохо – к тебе приду» (1934).

У русского человека есть «болезнь, влияющая на весь ход русской истории»: «язык чешется», «с трудом хранит заветное, выжидая лишь случая, когда можно ему перешепнуть кому-нибудь и тем облегчить свою душу». На себя смешно смотреть, как «подмывает шепнуть земле про ослиные уши и как нет-нет и прорвется заветное в разговоре с людьми». И такой русский человек весь: «болтун, страшный любитель общества». Наблюдать со стороны – выковывается молчун. Но принудить себя надолго – не получается. И мы все такие. «Мы болтливы, как галки», когда слетаются на одно дерево. А жизнь заставляет сейчас быть молчаливыми, как «ястребы». Ястребы будут, как полагается в природе, но «весь народ русский в своем характере навсегда будет с галками. В этом его особенность и, может быть, сила» (1937). Вот в русском народе даже «очень милостиво и сочувственно относятся к пьяным, и у каждого пьяницы в трудную минуту откуда-то находится товарищ трезвый».

Наши русские люди (как «заваленные снегом деревья») до того сейчас «перегружены тяжестью переживаний, до того им хочется поболтать обо всем друг с другом, что просто нет сил больше терпеть. Но чуть кто не вытерпел, – другой подслушал, и пропал человек!» (1937).

Словно завет давал в 1939 году: если считаешь себя сыном своего народа, то должен «вечно помнить, в каком зле искупался твой родной народ, сколько невинных жертв оставил он в диких лесах, на полях своих и везде. Наш долг перед потомством помнить о них». А по дороге в Москву любовался людьми русскими и не сомневался, что «такое множество умных людей рано или поздно все переварит и выпрямит всякую кривизну... все будет как надо».

Русский народ «исполнен юмора», и это его характерная черта; юмор немецкий «никого не смешит», кроме самих немцев. Русский менталитет Пришвин оттачивает в сопоставлении с немецким. Отмечал более основательные различия этих народов, имеющие историческое значение и выходящие на особенности судеб. Речь идёт о присущем немцам *Pflicht*, что привито протестантизмом. Это развитое чувство долга, как цементом, связывающим отдельные умы в общий ум. И которого нет в русском человеке: нам православие дало послушание. А большевики управляли народом, минуя склонность его к послушанию, требовали от русского народа немецкого *Pflicht*, лишая душу свободного волеизъявления. У одних немцев *Pflicht* – как мост между личностью и обществом, и этим они побеждают. Но оно развилось в ущерб личности, потому немец «при всем своем знании, умении, храбрости, честности не только французу, но и русскому кажется человеком, как личность, ограниченным». Поэтому, несмотря на «бесспорное уважение к его хозяйству и службе», из-за этой личной ограниченности проявляется наше «какое-то юмористическое отношение» к немцу в его домашней жизни (1941).

В 30-е годы Пришвин верил, что немцы, умея «отлично работать, гораздо ближе к социализму», чем мы – «социалисты на словах», так как социализм требует творческого труда (1930). Более того – русским порядочным людям «власть как бы не свойственна»: у нас нет «призвания властвовать». Они «ждут, чтобы пришел кто-нибудь к власти со стороны, и в особенности немца (варяга) любят» (1937). Русским надо сотрудничать с ними, так как у нас «жизнь под давлением: сжатая сила, б е з л и к а я», но если немца прибавить – будет «сила непобедимая, невиданная: вроде атомной силы; это и в человеке есть, в его родовой жажде жизни». «Коммунизм непобедим, но требует немца. Или они

нас завоюют, или опять провалятся и сольются с коммунизмом» (1936). По мнению писателя, если в далеком будущем чувство долга немцев и русская свобода взаимно обогатят друг друга, то тогда весь остальной мир должен будет «покориться этому союзу свободы и долга» (1937). Пришвин был счастлив тем, что принимал «с готовностью всякое влияние». И в этой готовности видел «и основную силу своего русского “рода и племени”» (1940). Пришвину ещё в молодости казалось, что у русского есть «страстная тяга» к иностранному, «мечта его о каком-то Светлом иностранце, который с любовью посмотрит на Россию». И это происходило «из нравственной необходимости самого русского человека все свое осуждать» (1916).

Даже сожалел о своей «вспышке патриотизма во время Германской войны», а теперь с готовностью отдал бы свой народ во власть немца как «организатора и воспитателя трудового начала». И без всякого колебания, потому что уверен «в молодости и таланте русского народа: пройдет германскую школу труда и будет русский народ, а не бесформенная инертная масса. И с такой радостью будут работать, учиться!» Настолько страна наша «жаждет труда для улучшения своего бытия», из которой вытекают «великие последствия обновления страны». В этом видится «благодетельный сдвиг революции»: не отдельные люди, а все хотят лучшего, «жаждут разумного труда, разумного хозяина» (1928). Дело не в том, что они умнее, а что они власть «всерьез принимают», – и у них в государстве всегда все выходит, а у нас ничего. Именно из-за презрения народа к власти она у нас «как будто она даже совсем и не земная и не от нас...» (1933). Значит, «послушание» – это не порок, а «добровольное сознательное подчинение необходимости». И надеялся, что сталинская эпоха со временем будет понята как «необходимая для нашего народа школа послушания» – как проявление «внутреннего патриотизма» во имя возрождения. Если же время послушания будет сорвано, то неминуемо нас подчинят немцы, и мы будем у них в послушании, пока не преодолеем их плен изнутри (13 июня 1941 г.). Речь, несомненно, шла о дисциплине, организованности народа уже в оборонном значении.

7 октября 1941 года появляется запись: «Наступает страшное время, надо собираться на борьбу самую грубую за жизнь и самую тонкую за смысл ее, надо быть мудрым, как змий». Как? «Начало всего в нас: без веры нашей и без дел церковь и Бог – все мертвое». Для него народ наш русский – «не дворяне, мужики, пролетарии, интеллигенция и т. п.», а «собрание лиц, которое каждый из нас собирает сам и поминает о здравии или за упокой. Как и в брачном союзе, источником нашей нравственной связи является наша уверенность в себе перед Богом, так и связь с народом происходит именно из этого самоопределения среди любимых людей, живых и мертвых». Он уверял, что «надежда на какую-то спасительную перемену извне напрасна, что Кашеева цепь есть [непременная] необходимость жизни человека на земле и действительная перемена к лучшему возможна лишь в себе самом» (1941).

Отсюда его требования к Дневнику: писать для себя, чтобы «самому разобраться в себе», или с намерением «войти в общество», сказать свое слово. Когда хочешь сказать людям о себе, надо суметь «умереть для себя и найтись или возродиться в чем-то другом». Стоит «поглядеть на все живое в природе и понять: все живое – зверь, птица, дерево, трава умирает для себя, чтобы воскреснуть в другом». Человек же «умирает и возрождается» – в своём творчестве, это его «собственный

путь к бессмертию». Если это знать, тогда нечего «бояться смерти и атомной бомбы» (20 февраля 1946 г.).

Находя, что обида и счастье – два фактора, определяющие психологию русского народа, Пришвин примерял это на себя. Признавал: обиды в его жизни «сколько угодно», и творчество его – результат «особого смирения в процессе борьбы с личной обидой», «не есть обычное «счастье», а усилие радостного выхода из личной обиды: это есть «путь к радости, но не к счастью» (1946).

Счастье? Была иллюзия счастливой жизни, если не будет царя. Та же иллюзия теперь у тех, кто мечтает о счастье без большевиков. «Счастье на свете одно – это быть самим собой», «согласовать свои природные склонности с общественной деятельностью и находить удовлетворение своим природным склонностям» (1930). (Ницше как пример: «хочет быть сам собой и не достигает»).

Самопостижение Пришвина нашло своё отражение в Дневниках. Это разбросано по всему тексту и никогда не уходило из поля зрения автора. Как человека он изобразил себя в «Кашеевой цепи» в герое Алпатове (Алпатовы – уличная фамилия Пришвиных в Ельце). И литература – его вскармливала. Лев Толстой – «жив и близок», его слова ещё в юности запали в память и помогли самоопределиться. Особенно Пьер – «один из тех людей, которые чувствуют себя сильными, только если они чисты» (1935). В царское и в советское время считал себя мятежником, но не хотел быть в оппозиции как таковой, боялся хамства и боялся быть «не самим собой». При царизме считал себя «безупречным в близости к русскому народу и неприязни к правительству». И теперь не изменился к своему народу, уважал правительство. Но был готов на борьбу с бюрократией – «с этим самым страшным врагом творчества» (1936).

19 декабря 1931. Его расстроило, что отказались печатать «Кашееву цепь», и на это чувство обиды легла «картина московской трамвайной давки, злобы, бой за место на железной дороге, серые лица, множество людей с мешками провизии, усталость, “истинный ад!”» «Нечего и думать об издании книг, если пишут: “Пришвин, реакционный писатель”». Остаётся одно: «служить и тихонько пописывать под другим именем».

Мучит мысль о гибнущей родине, тоска не забывается ни при каких восторгах: «эти ручейки из-под снега, песенки жаворонок или зябликов, молодая звезда на заре – все это каким-то образом непременно возвращает к убийственной росстани: жить до смерти в полунищете среди нищих озлобленно воспитанных на идее классово-борьбы» или оказаться на чужбине, где «с иностранной точки зрения взвесят твою жизнь и установят ее небольшую международную значимость...» Если думать о современной жизни, принимая все к сердцу, то «жить нельзя, позорно жить...» «Как болит душа у русского, сколько людей сослано и как там страдают!» (1930) «Берут одного за другим, и не знаешь, и никто не может узнать, куда его девают. Как будто на тот свет уходит. И чем больше уходят, чем неуверенней жизнь остающихся, тем больше хочется жить, да, жить несмотря ни на что! Так вот бывает пир во время чумы» (1938). Внутри партии происходит «отбор личностей, исключаящий одного, другого до тех пор, пока не останется личность одна. Теперь это Сталин, человек действительно стальной», в котором «нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе»; «гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. И так нужно, потому что наступает время военного действия» (1930).

Эпоха диктатуры «страшно понизила нравственное сознание масс»: главным образом «через мальчишек, которых в месячный срок учат на курсах “в два счета на ять” классовой борьбе» (1930). Думалось: «вся поэзия вытекает из неоскорбляемой части человеческого существа, и я взялся за нее как за якорь личного спасения от оскорбления и злобы». Потом вывод: «считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа человека» (1937). Признаёт: «Не могу с большевиками, потому что у них столько было насилия, что едва ли им уже простит история за него. И с фашистами не могу, и с эсерами, я по природе своей человек непартийный, и это необязательно – быть непременно партийным» (1938). «Много раз я был у конца, и даже, можно сказать, все советское время жизнь моя протекала в настоящем чувстве конца (замерзнуть бы или сгореть), но конечное чувство радости жизни удерживало меня, и потому я хватался за радость и все советское время писал только о радости». Гордился тем, что «единственный из писателей» доказал, что писатель может и при советской власти отстоять «независимость авторства». Верил, что «не унизится и выйдет невредимым из всякого унижения», но имел страх «постоянный перед унижением». Всегда перед ним стоял Медный всадник – государство, Евгений (я – мы) и, конечно, в перспективе будущего: «ужо!» И какой выход? «Величайшее, единственное и последнее средство борьбы с насилием и господством – это молчание». Но «если будет открыто средство видеть мысли, то этим будет вырвано последнее средство борьбы с господством, хотя тем самым и господство прекратится: все личное будет побеждено», – заключал он. Как же это современно звучит при нынешних расчётах на коварную цифровизацию!

Романтичность и чувство природы сделало, по собственному его признанию, «писателем, человеком известным». В писательстве, как он говорит: «есть что-то больше меня». И это пришло через родителей от церкви. Больше всего был признателен своей матери: «Не будь у меня матери, никакого чувства я бы не испытывал к земле, это материнская любовь делает землю родной и прекрасной». Когда надоели научные занятия ботаникой, Пришвин «сделался пейзажистом родной страны» «без человека». Когда освободился «от мелкой собственности и физического чувства к родному углу» и погрузился «в просторы лесов, русских рек и морей», через слово о них нашёл друзей, – возникло «чувственное, собачье влечение к земле», названное им любовью. Чтобы найти «равновесие сил и счастье» в природе, прелесть которой есть «выражение душевного мира (согласия)».

Любимым временем года была «весна света»: ночь с сильным морозом и сильный свет солнца от снега. А в преддверии – восторг от света в январе, когда «небо голубеет, оживает, зацветает и облака по нем распускаются, как весною лед на реке, открывая живую воду». И весеннюю воду в лесных лужицах с отражением в них неба и белых берёз, и широкую воду озёр и моря. Счастье? – «та же радость бытию... до того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе». «Радоваться небу, солнцу, траве... встрече с человеком и разделить с ним путь до его села и в селе... просто обрадоваться всем людям, поговорить, попеть с ними и расстаться так, чтобы дети долго потом вспоминали про веселого странника. Это счастье никак не связано с удачей...» (1920).

В 1929 г. одну книжку всегда брал с собой и читал ее все лето. Это «Биосфера» Вернадского. В ней знание о том, что «мы – дети солнца».

Вернадский доказывает это путем эмпирических обобщений и «избитое в поэзии место становится новым». Сам всегда чувствовал смутно эту «ритмику мирового дыхания», и потому научная книга Вернадского, где его догадка передавалась как «эмпирическое обобщение», читалась теперь, как в детстве «авантюрный роман». А может быть, эта необходимая для творчества «вечность» и есть чувство «не своего человеческого, а иного, планетного времени», «способность соприкасаться посредством внутренней ритмики с иными временами, с иными сроками и следует назвать собственно творчеством?» В прежней русской интеллигенции было «особенное, тоже сверхвременное чувство цельности человеческой жизни», что увлекало к действию и готовило неизбежность Голгофы в тюрьме и Сибири (1929).

В 1933 г. он оценивал свою нынешнюю жизнь, наполненную «любимым делом и часами отдыха в своей семье», «сравнительно с другими очень счастливой». В 1937 г. записал: «мне 65 лет от роду и всех своих, жену, детей я устроил и обеспечил года на 3-4 свое личное существование, – я могу теперь жить, совершенно не заботясь о будущем в матер. отношении. Я с 1938 года выбрасываю из себя совершенно эту заботу и живу лично как свободный и счастливый человек с одной оговоркой: от сумы и тюрьмы не отказывайся». В 1940 г. ему улыбнулась большая любовь: в 68 лет сделал предложение замужней Валерии Дмитриевне на пятый день знакомства и был счастлив до конца своих дней. Записал: «Вот появление Ляли у меня я считаю за чудо, и со времени ее появления считаю себя верующим в Бога и, по всей вероятности, христианином» (14 июня 1940 г.). Считал, что их объединяет «общая и самая русская черта в характере – это органическая неприязнь ко всякому господству над людьми и даже над имуществом» (1941). Хотел только создать «Песнь Песней», и «это будет истинное чудо, если я ее напишу...»

Всё время манило его жить в усадьбе, в саду, как в детстве. В 75 лет достиг этой мечты и «устроился»: «как верблюд, сумевший пройти сквозь игольное ушко». Но не забывая только, что «люди нашей страны живут тяжело и выносят невыносимое...». «А впрочем, стыд личного счастья – есть основная черта русской культуры и русской литературы, широко распространившей эту идею. Тут весь Достоевский и Толстой. У русских, бывало, стыдятся даже, когда счастье само приходит...»

Он же стыдился хвалить русских: «С малолетства и до старости во мне, как кровно русском человеке из города Ельца, живет странное чувство, которое не встречал ни у одного народа. При встрече с представителями любой народности, будь то англичанин, или француз, или китаец, познакомившись с каждым из них, я узнаю в них нечто лучшее, чего не знаю в своем народе. Русский человек хуже всех, – вот мое основное чувство... оно нисколько меня не угнетает, напротив, я искренно по-детски радуюсь, что где-то на стороне у других так много всего хорошего... Но как только я хочу сказать хорошее о русских, какой-то тайный голос повелительно запрещает мне: так нельзя». Ему дорого «благоговейно чисто детское состояние души русского человека»: этот восторг перед другими народами. Даже кажется, что «если каждый народ будет о другом народе думать лучше, чем о своем, разве это не станет возрождением мира, не станет истинным путем в интернационал?» И не есть ли это «путь морального переустройства всего мира?» И тогда он начинал думать: «не пора ли пересмотреть это завещанное нам и прадедами чувство смирения русского человека перед иностранцами». Удивляло и другое в русском народе: «приспособительный» ум (1942).

А также «очень быстрое, легкомысленнейшее самоуспокоение» (1941). В «Лесной капели» сформулировал: «суть русского человека – не в красоте, не в силе, а в правде». Отсюда и «сущность нашего реализма: это подвижническое смирение художника перед правдой».

В 1945 г., сравнивая германский народ с русским, находил преимущества у нас: «массовый немец шел за материальными благами, каждый индивидуально. Русский шел сверхлично, сам ничем не заинтересованный. Итак, сила нашего социализма состоит в устранении индивидуальности с ее наследственными правами (собственностью)». Это его новое понимание социализма. Социализм (большевизм) – это «взрыв скопленной народной энергии». А в основании взрыва – чувство долготерпения: «будь доволен тем, что тебе дано», в нём «вся сила русского народа». И ещё одна черта: болезнь и здоровье русского – идеализм. Его «легковерие и неопытность» исходит из того, что никогда не был богат (1946).

Также обновилось чувство вождя. Сталин – «Сталин – это грузинский кувшин с русской кровью, это теперь такой же русский человек (скорее – русское явление), как и Петр I». Теперь и себя нельзя понять без Сталина – он входит «в состав моего собственного “Я”». Сталин – «это корректив нашего послушания, это необходимость и свобода, или “я сам” есть С. как осознанная необходимость. Только в зеркале Сталина я вижу себя как начало божественной силы». Это Сталин «разделяет во мне вечное божественное от родового наследственного человеческого» (1945). Стал понимать, что Сталин думал «о личности, полезной для общества». Понимание пришло «из-за обострения “холодной войны” с ее спором о войне и мире» (1950). «В славянстве всегда таился огонь неудовлетворяемой родовой силы, и наша сила теперь именно родовая, сила огня». К тому же «в русском человеке как в природе есть все, что только нам самим вздумается: тут и англичане, и французы, и немцы, и татары, и финны, есть и семиты, и арийцы, и пассивные, и активные – все, все есть. И в этом всем – наша сила, впрочем, оговорюсь: только та сила, которой вот теперь берут города» (1945).

Его писательское кредо: «Я хотел найти доброе в нашем советском строительстве. Вот отчего начиналась борьба: добро мое боролось с наличием зла». С верой в коммунизм (нравственный). Только чтобы «коммунизм, питающий первенство каждого в едином деле красоты и добра, не подчинить чечевичной похлебке равенства всех». Работая над «Осударевой дорогой», писал: «Моя идея русская, народная». Идея сути главного героя Зуйка – это «наше влечение в “природу”»: к личному совершенству, что возвращает нас к людям. «Вся моя жизнь с колыбели была борьбой за свою личность, это моя тема и как писателя» (1948). И когда читал Макаренко, восхищался подвигом русского человека, отдавшего жизнь свою «на утверждение веры в человека» (1945). А когда осудили творчество Зощенко, Ахматовой, навалилось «чувство щемящей безнадежности. Никакое личное усилие, никакое счастье больше не отстраняют зрелище бедности, озлобленности, уродства жизни всего русского народа» (30 января 1946). Беду видел – «в несомненном факте морального распада в нашем обществе». Это разделило людей «на потерявших веру в завтрашний день» и на тех, кто не веря, «перестраивает насильно свое настоящее на будущее». Поэтому Пришвин намеренно «сгущает добро». И в его творчестве, как и в природе русского человека, «в его наивном жизнеощущении» содержится упование, что «добро перемогает зло» (1947). Его герой нашего времени обладает «чувством

правды, как инстинктом и без всякого раздумья от первого веяния правды переходит к действию». Ему кажется, что главное в его произведениях – это «философия случайного и неповторимого, постигаемого удивлением». Он считает: «Писатель – это свободный человек. Нет ничего труднее, как сделать себя свободным. Вот почему так трудно сделаться хорошим писателем (1945). Для себя уяснил, что сохранял «живое чувство к хорошим людям», от которых произошёл, как и «живое чувство родины», поэтому его «в советское время не трогали, хотя и не любили». Отсюда чувство: «если погубят меня, погибну я – погибнет Россия» (1941). А в 77 лет записал: «жизни не жалко, но если я представлю себе, что придет когда-нибудь время и я брошу перо, то мне кажется это невозможным и недостойным себя жизнь без охоты писать».

После войны перспективы страны оценивал достаточно оптимистично. Понимая смысл нашей истории как борьбу «какого-то общинно-родового духа с возникающей индивидуальностью», Пришвин очень верил в русский народ, что он выйдет «на широкий путь борьбы всего человечества» именно за личность. Убеждение черпал из прошлого России: «Величайшей моральной независимостью обладал частный человек у нас в царское время, на этой почве возникла, одной стороны, богатейшая в мире литература, а с другой – революция» (1944). Из истории Великой Отечественной войны, которая явила «чудо» – наша победа в ней. Это была заслуга народа, с организующей волей большевиков, Красной армии, в которой «главный тип бойца» – «тот самый чудотворец». А в тылу – её ковали колхозы, где работала выносливая и терпеливая «самая обыкновенная баба», ставшая символом победы. Бесстрашие, удаля, «народная сила» вышла «из вечной тренировки голодом, то есть смертью». Наконец, чудо совершилось благодаря «общественной душевной энергии», сравнимой с атомной. Поэтому есть уверенность: «Мог народ немца разбить, значит, он и во всем другом покажет себя» (1946). Хотя в лихую годину писателя не покидали тяжёлые мысли о самом существовании России, жила надежда в то, что СССР «не распадется и выйдет на лучшую дорогу». Понимал, что современная «борьба разрешиться не может, так как противники равные, она может принять только универсальные размеры, захватив в себя весь мир. Русский вопрос сделается вопросом всего мира и даст нам возможность существования на земле только тем, что будет принят на плечи новых свежих масс. И так в будущем наш русский кулак-мешочник сделается американским капиталистом, а странник града невидимого – каким-нибудь новым Ницше». Надежды писателя подкреплялись знанием традиции: «Историю великорусского племени я содержу лично в себе как типичный и кровный его представитель и самую главную особенность его чувствую в своей собственной жизни, на своем пути, как и на пути всего народа, – это сжиматься до крайности в узких местах и валить валом по широкой дороге». Он подчёркивал: «Ум приспособительный – характернейшая черта русского народа – и какой это ум!»

Пришвин всегда был честен перед самим собой, верен своему народу, отчизне и служил ей своим пером во имя добра, мира и гармонии с природой. Широта души и потенциальная энергия русских людей позволяла ему надеяться на историческую миссию народа в обновлении и совершенствовании человечества.